

Художественная атеистическая библиотека
Два бога
Максим Горький

М. Горький

■

ДВА БОГА

■

Государственное издательство
политической литературы
Москва, 1963

Составитель
Е. П. ЛОШКАРЕВ

ДВА БОГА

(Отрывки из повестей «Детство» и «В людях»)

■

Молитвы

Я лежу на широкой кровати, вчетверо окутан тяжелым одеялом, и слушаю, как бабушка молится богу, стоя на коленях, прижав одну руку ко груди, другою неторопливо и нечасто крестясь. [...]

Долгие молитвы всегда завершают дни огорчений, ссор и драк; слушать их очень интересно; бабушка подробно рассказывает богу обо всем, что случилось в доме; грузно, бльшим холмом стоит на коленях и сначала шепчет невнятно, быстро, а потом густо ворчит:

— Ты, господи, сам знаешь, — всякому хочется, что получше. Михайло-то старшой, ему бы в городе-то надо остаться, за реку ехать обидно ему, и место там новое, неиспытанное; что будет — неведомо. А отец — он Якова больше любит. Али хорошо — неровно-то детей любить? Упрям старик — ты бы, господи, вразумил его.

Глядя на темные иконы большими светящимися глазами, она советует богу своему:

— Наведи-ко ты, господи, добрый сон на него, чтобы понять ему, как надобно детей-то делить!

Крестится, кланяется в землю, стукаясь большим

лбом о половицу, и, снова выпрямившись, говорит внушительно:

— Варваре-то улыбнулся бы радостью какой! Чем она тебя прогневала, чем грешней других? Что это: женщина молодая, здоровая, а в печали живет. И вспомяни, господи, Григорья,— глаза-то у него все хуже. Ослепнет — по миру пойдет, нехорошо! Всю свою силу он на дедушку истратил, а дедушка разве поможет!.. О, господи, господи...

Она долго молчит, покорно опустив голову и руки, точно уснула крепко, замерзла.

— Что еще? — вслух вспоминает она, приморщив брови.— Спаси, помилуй всех православных; меня, дуру окаянную, прости,— ты знаешь: не со зла грешу, а по глупому разуму.

И, глубоко вздохнув, она говорит ласково, удовлетворенно:

— Все ты, родимый, знаешь, все тебе, батюшка, ведомо.

Мне очень нравился бабушкин бог, такой близкий ей, и я часто просил ее:

— Расскажи про бога!

Она говорила о нем особенно: очень тихо, странно растягивая слова, прикрыв глаза и непременно сидя; приподнимется, сядет, накинет на простоволосую голову платок и заведет надолго, пока не заснешь:

— Сидит господь на холме, среди луга райского, на престоле синя камня яхонта, под серебряными липами, а те липы цветут весь год кругом; нет в раю ни зимы, ни осени, и цветы николи не вянут, так и цветут неустанно, в радость угодникам божьим А около господа ангелы летают во множестве,— как снег идет али пчелы

роятся,— али бы белые голуби летают с неба на землю да опять на небо и обо всем богу сказывают про нас, про людей. Тут и твой, и мой, и дедушкин — каждому ангел дан, господь ко всем равен. Вот твой ангел господу приносит: «Лексей дедушке язык высунул!» А господь и распорядится: «Ну, пускай старик посечет его!» И так все, про всех, и всем он воздает по делам — кому горем, кому радостью. И так все это хорошо у него, что ангелы веселятся, плещут крыльями и поют ему беспеременно: «Слава тебе, господи, слава тебе!» А он, милый, только улыбается им — дескать, ладно уж!

И сама она улыбается, покачивая головою.

— Ты это видела?

— Не видала, а знаю! — отвечает она задумчиво.

Говоря о боге, рае, ангелах, она становилась маленькой и кроткой, лицо ее молодело, влажные глаза струили особенно теплый свет. Я брал в руки тяжелые атласные косы, обертывал ими шею себе и, не двигаясь, чутко слушал бесконечные, никогда не надоедавшие рассказы.

— Бога видеть человеку не дано — ослепнешь; только святые глядят на него во весь глаз. А вот ангелов видела я; они показываются, когда душа чиста. Стояла я в церкви у ранней обедни, а в алтаре и ходят двое, как туманы, видно сквозь них все, светлые, светлые, и крылья до полу, кружевные, кисейные. Ходят они кругом престола и отцу Илье помогают, старичку: он поднимет ветхие руки, богу молясь, а они локотки его поддерживают. Он очень старенький был, слепой уж, тыкался обо все и поскорости после того успел, скончался. Я тогда, как увидала их,— обмерла от радости, сердце заныло, слезы катятся,— ох, хорошо было! Ой, Ленька,

голуба́ душа, хорошо все у бога и на небе и на земле, так хорошо...

— А у нас хорошо разве?

Осенив себя крестом, бабушка ответила:

— Слава пресвятой богородице,— все хорошо!

Это меня смущало: трудно было признать, что в доме все хорошо; мне казалось, в нем живется хуже и хуже.

Однажды, проходя мимо двери в комнату дяди Михаила, я видел, как тетка Наталья, вся в белом, прижав руки ко груди, металась по комнате, вскрикивая негромко, но страшно:

— Господи, прибери меня, уведи меня... [...]

Не однажды я видел под пустыми глазами тетки Натальи синие опухоли, на желтом лице ее — вспухшие губы. Я спрашивал бабушку:

— Дядя бьет ее?

Вздыхая, она отвечала:

— Бьет тихонько, анафема проклятый! Дедушка не велит бить ее, так он по ночам. Злой он, а она — кисель...

И рассказывает, воодушевляясь:

— Все-таки теперь уж не бьют так, как бивали! Ну, в зубы ударит, в ухо, за косы минуту потреплет, а ведь раньше-то часами истязали! Меня дедушка однова́ бил на первый день пасхи от обедни до вечера. Побьет — устанет, а отдохнув — опять. И вожжами и всяко.

— За что?

— Не помню уж. А вдругорядь он меня избил до полусмерти да пятеро суток есть не давал,— еле выжила тогда. А то еще...

Это удивляло меня до онемения: бабушка была

вдвое крупнее деда, и не верилось, что он может одолеть ее.

— Разве он сильнее тебя?

— Не сильнее, а старше! Кроме того — муж! За меня с него бог спросит, а мне заказано терпеть...

Интересно и приятно было видеть, как она отирала пыль с икон, чистила ризы; иконы были богатые, в жемчугах, серебре и цветных каменьях по венчикам; она брала ловкими руками икону, улыбаясь смотрела на нее и говорила умиленно:

— Эко милое личико!..

Перекрестясь, целовала.

— Запылилася, окоптела,— ах ты, мать всепомощная, радость неизбывная! Гляди, Леня, голубá душа, письмо какое тонкое, фигурки-то махонькие, а всякая отдельно стоит. Зовется это Двенадцать праздников, в середине же божия матерь Феодоровская, предобрая. А это вот — Не рыдай мене, мати, зряще во гробе...

Иногда мне казалось, что она так же задушевно и серьезно играет в иконы, как пришибленная сестра Катерина — в куклы.

Она нередко видала чертей, во множестве и в одиночку.

— Иду как-то великим постом, ночью, мимо Рудольфова дома; ночь лунная, молосная, вдруг вижу: верхом на крыше, около трубы, сидит черный, нагнул рогатую-то голову над трубой и нюхает, фыркает, большой, лохматый. Нюхает да хвостом по крыше и возит, шаркает. Я перекрестила его: «Да воскреснет бог и расточатся врази его»,— говорю. Тут он взвизгнул тихонько и сосползнул кувырком с крыши-то во двор,— расточился!

Должно, скоромное варили Рудольфы в этот день, он и нюхал, радуясь...

Я смеюсь, представляя, как черт летит кувырком с крыши, и она тоже смеется, говоря:

— Очень они любят озорство, совсем как малые дети! Вот однажды стирала я в бане, и дошло время до полуночи; вдруг дверца каменки как отскочит! И посыпались оттуда они, мал мала меньше, красненькие, зеленые, черные, как тараканы. Я — к двери — нет ходу; увязла средь бесов, всю баню забили они, повернуться нельзя, под ноги лезут, дергают, сжали так, что и окститься не могу! Мохнатенькие, мягкие, горячие, вроде котят, только на задних лапах все; кружатся, озоруют, зубенки мышиные скалят, глазишки-то зеленые, рога чуть пробились, шишечками торчат, хвостики поросячьи — ох ты, батюшки! Лишилась памяти ведь! А как воротилась в себя — свеча еле горит, корыто простыло, стиранное на пол брошено. Ах вы, думаю, раздуй вас горой!

Закрыв глаза, я вижу, как из жерла каменки, с ее серых булыжников густым потоком льются мохнатые, пестрые твари, наполняют маленькую баню, дуют на свечу, высовывают озорниковато розовые языки. Это тоже смешно, но и жутко. Бабушка, качая головою, молчит минуту и вдруг снова точно вспыхнет вся.

— А то, проклятых, видела я; это тоже ночью, зимой, вьюга была. Иду я через Дюков овраг, где, помнишь, сказывала, отца-то твоего Яков да Михайло в проруби в пруде хотели утопить? Ну, вот, иду; только скувырнулась по тропе вниз, на дно, ка-ак засвистит, загикает по оврагу! Гляжу, а на меня тройка вороных мчится, и дородный такой черт в красном колпаке,

колом торчит, правит ими, на облучок встал, руки вытянул, держит вожжи из кованых цепей. А по оврагу езды не было, и летит тройка прямо в пруд, снежным облаком прикрыта. И сидят в санях тоже всё черти; свистят, кричат, колпаками машут,— да эдак-то семь троек проскакало, как пожарные, и все кони вороной масти, и все они — люди, проклятые отцами-матерьми; такие люди чертям на потеху идут, а те на них ездят, гоняют их по ночам в свои праздники разные. Это я, должно, свадьбу бесовскую видела...

Не верить бабушке нельзя — она говорит так просто, убедительно.

Но особенно хорошо сказывала она стихи о том, как богородица ходила по мукам земным, как она увещевала разбойницу «князь-барыню» Енгалычеву не бить, не грабить русских людей; стихи про Алексея божия человека, про Ивана-воина; сказки о премудрой Василисе, о Попе-козле и божьем крестнике; страшные были о Марфе Посаднице, о Бабе Усте, атамане разбойников, о Марии, грешнице египетской, о печалях матери разбойника; сказок, былей и стихов она знала бесчисленно много.

Не боясь ни людей, ни деда, ни чертей, ни всякой иной нечистой силы, она до ужаса боялась черных тараканов, чувствуя их даже на большом расстоянии от себя. Бывало разбудит меня ночью и шепчет:

— Олеша, милый, таракан лезет, задави, Христа ради!

Сонный, я зажигал свечу и ползал по полу, отыскивая врага; это не сразу и не всегда удавалось мне.

— Нет нигде,— говорил я, а она, лежа неподвижно, с головой закутавшись одеялом, чуть слышно просила:

— Ой, есть! Ну, поищи, прошу тебя! Тут он, я уж знаю...

Она никогда не ошибалась — я находил таракана где-нибудь далеко от кровати.

— Убил? Ну, слава богу! А тебе спасибо...

И, сбросив одеяло с головы, облегченно вздыхала, улыбаясь.

Если я не находил насекомое, она не могла уснуть; я чувствовал, как вздрагивает ее тело при малейшем шорохе в ночной, мертвой тишине, и слышал, что она, задерживая дыхание, шепчет:

— Около порога он... под сундук пополз...

— Отчего ты боишься тараканов?

Она резонно отвечала:

— А непонятно мне, на что они? Ползают и ползают, черные. Господь всякой тле свою задачу задал: мокрица показывает, что в доме сырость; клоп — значит, стены грязные; вошь нападает — нездоров будет человек,— все понятно! А эти — кто знает, какая в них сила живет, на что они насылаются? [...]

Я очень рано понял, что у деда — один бог, а у бабушки — другой.

Бывало — проснется бабушка, долго, сидя на кровати, чешет гребнем свои удивительные волосы, дергает головою, вырывает, сцепив зубы, целые пряди длинных черных шелковинок и ругается шепотом, чтоб не разбудить меня:

— А, пострели вас! Колтун вам, окаянные...

Кое-как распутав их, она быстро заплетает толстые косы, умывается наскоро, сердито фыркая, и, не смыв раздражения с большого, измятого сном лица, встает

перед иконами, — вот тогда и начиналось настоящее утреннее омовение, сразу освежавшее всю ее.

Выпрямив сутулую спину, вскинув голову, ласково глядя на круглое лицо Казанской божией матери, она широко, истово крестилась и шумно, горячо шептала:

— Богородица преславная, подай милости твоея на грядущий день, матушка!

Кланялась до земли, разгибала спину медленно и снова шептала все горячей и умиленнее:

— Радости источник, красавица пречистая, яблоня во цвету!..

Она почти каждое утро находила новые слова хвалы, и это всегда заставляло меня вслушиваться в молитву ее с напряженным вниманием.

— Сердечушко мое чистое, небесное! Защита моя и покров, солнышко золотое, мати господня, охрани от наваждения злого, не дай обидеть никого, и меня бы не обижали зря!

С улыбкой в темных глазах и как будто помолодевшая, она снова крестилась медленными движениями тяжелой руки.

— Исусе Христе, сыне божий, буди милостив ко мне, грешнице, матери твоея ради...

Всегда ее молитва была акафистом, хвалою искренней и простодушной.

Утром она молилась недолго: нужно было ставить самовар, прислуги дед уже не держал, и, если бабушка опаздывала приготовить чай к сроку, установленному им, он долго и сердито ругался.

Иногда он, проснувшись раньше бабушки, всходил на чердак и, заставая ее за молитвой, слушал некоторое

время ее шепот, презрительно кривя тонкие, темные губы, а за чаем ворчал:

— Сколько я тебя, дубовая голова, учил, как надобно молиться, а ты все свое бормочешь, еретица! Как только терпит тебя господь!

— Он поймет,— уверенно отвечала бабушка.— Ему что ни говори — он разберет...

— Чуваша проклятая! Эх вы-и...

Ее бог был весь день с нею, она даже животным говорила о нем. Мне было ясно, что этому богу легко и покорно подчиняется все: люди, собаки, птицы, пчелы и травы; он ко всему на земле был одинаково добр, одинаково близок.

Однажды балованый кот кабатчицы, хитрый сластена и подхалим, дымчатый, золотоглазый, любимец всего двора, притащил из сада скворца; бабушка отняла измученную птицу и стала упрекать кота:

— Бога ты не боишься, злодей подлый!

Кабатчица и дворник посмеялись над этими словами, но бабушка гневно закричала на них:

— Думаете — скоты бога не понимают? Всякая тварь понимает это не хуже вас, безжалостные...

Запрягая ожиревшего, унылого Шарапа, она беседовала с ним:

— Что ты скучен, богов работник, а? Старенький ты...

Конь вздыхал, мотая головою.

И все-таки имя божие она произносила не так часто, как дед. Бабушкин бог был понятен мне и не страшен, но пред ним нельзя было лгать — стыдно. Он вызывал у меня только непобедимый стыд, и я никогда не лгал бабушке. Было просто невозможно скрыть что-либо от

этого доброго бога, и, кажется, даже не возникало желания скрывать.

Однажды кабатчица, поссорившись с дедом, изругала заодно с ним и бабушку, не принимавшую участия в ссоре, изругала злобно и даже бросила в нее морковью.

— Ну, и дура вы, сударыня моя,— спокойно сказала ей бабушка, а я жестоко обиделся и решил отомстить злодейке.

Я долго измышлял, чем бы уязвить больнее эту рыжую толстую женщину с двойным подбородком и без глаз.

По наблюдениям моим над междоусобицами жителей я знал, что они, мстя друг другу за обиды, рубят хвосты кошкам, травят собак, убивают петухов и кур или, забравшись ночью в погреб врага, наливают керосин в кадки с капустой и огурцами, выпускают квас из бочек,— но все это мне не нравилось; нужно было придумать что-нибудь более внушительное и страшное.

Я придумал: подстерег, когда кабатчица спустилась в погреб, закрыл над нею творило, запер его, сплясал на нем танец мести и, забросив ключ на крышу, стремглав прибежал в кухню, где стряпала бабушка. Она не сразу поняла мой восторг, а поняв, нашлепала меня, где подобает, вытащила на двор и послала на крышу за ключом. Удивленный ее отношением, я молча достал ключ и, убежав в угол двора, смотрел оттуда, как она освобождала пленную кабатчицу и как обе они, дружелюбно посмеиваясь, идут по двору.

— Я-а тебя,— погрозила мне кабатчица пухлым кулаком, но ее безглазое лицо добродушно улыбалось. А бабушка взяла меня за шиворот, привела в кухню и спросила:

— Это ты зачем сделал?

— Она в тебя морковью кинула...

— Значит, это ты из-за меня? Так! Вот я тебя, брандахлыст, мышам в подпечек суну, ты и очнешься! Какой защитник — взгляньте на пузырь, а то сейчас лопнет! Вот скажу дедушке — он те кожу-то спустит! Ступай на чердак, учи книгу...

Целый день она не разговаривала со мною, а вечером, прежде чем встать на молитву, присела на постель и внушительно сказала памятные слова:

— Вот что, Ленька, голуба́ душа, ты закажи себе это: в дела взрослых не путайся! Взрослые — люди порченые; они богом испытаны, а ты еще нет,— и живи детским разумом. Жди, когда господь твоего сердца коснется, дело твое тебе укажет, на тропу твою приведет. Понял? А кто в чем виноват — это дело не твое. Господу судить и наказывать. Ему, а не нам!

Она помолчала, понюхала табаку и, прищурив правый глаз, добавила:

— Да, поди-ка, и сам-от господь не всегда в силе понять, где чья вина.

— Разве бог не все знает? — спросил я, удивленный, а она тихонько и печально ответила:

— Кабы все-то знал, так бы многого, поди, люди-то не делали бы. Он, чай, батюшка, глядит-глядит с небеси-то на землю, на всех нас, да в иную минуту как восплачет, да как возрыдает: «Люди вы мои, люди, милые мои люди! Ох, как мне вас жалко!»

Она сама заплакала и, не отирая мокрых щек, отошла в угол молиться.

С той поры ее бог стал еще ближе и понятней мне.

Дед, поучая меня, тоже говорил, что бог — существо

вездесущее, всеведущее, всевидящее, добрая помощь людям во всех делах, но молился он не так, как бабушка.

Утром, перед тем как встать в угол к образам, он долго умывался, потом, аккуратно одетый, тщательно причесывал рыжие волосы, оправлял бородку и, осмотрев себя в зеркало, одернув рубаху, заправив черную косынку за жилет, осторожно, точно крадучись, шел к образам. Становился он всегда на один и тот же сучок половицы, подобный лошадиному глазу, с минуту стоял молча, опустив голову, вытянув руки вдоль тела, как солдат. Потом, прямой и тонкий, внушительно говорил:

— «Во имя отца и сына и святого духа!»

Мне казалось, что после этих слов в комнате наступала особенная тишина — даже мухи жужжат осторожнее.

Он стоит, вздернув голову; брови у него приподняты, ощетинились, золотистая борода торчит горизонтально; он читает молитвы твердо, точно отвечая урок: голос его звучит внятно и требовательно.

— «Напрасно судия приидет, и коегождо деяния обнажатся...»

Не шибко бьет себя по груди кулаком и настойчиво просит:

— «Тебе единому согреших,— отврати лице твое от грех моих...»

Читает «Верую», отчеканивая слова; правая нога его вздрагивает, словно бесшумно притопывая в такт молитве; весь он напряженно тянется к образам, растет и как бы становится все тоньше, суше, чистенький такой, аккуратный и требующий:

— «Врача родшая, уврачуй души моея многолетние

страсти! Стенания от сердца приношу ти непрестанно, усердствуй, владычице!»

И громко взывает, со слезами на зеленых глазах:

— «Вера же вместо дел да вменится мне, боже мой, да не взыщеши дел, отнюдь оправдающих мя!»

Теперь он крестится часто, судорожно, кивает головою, точно бодаясь, голос его взвизгивает и всхлипывает. Позднее, бывая в синагогах, я понял, что дед молился, как еврей.

Уже самовар давно фыркает на столе, по комнате плавает горячий запах ржаных лепешек с творогом,— есть хочется! Бабушка хмуро прислонилась к притолоке и вздыхает, опустив глаза в пол; в окно из сада смотрит веселое солнце, на деревьях жемчугами сверкает роса, утренний воздух вкусно пахнет укропом, смородиной, зреющими яблоками, а дед все еще молится, качается, взвизгивает:

— «Погаси пламень страстей моих, яко нищ есмь и окаянен!»

Я знаю на память все молитвы утренние и все на сон грядущий,— знаю и напряженно слежу: не ошибется ли дед, не пропустит ли хоть слово?

Это случалось крайне редко и всегда возбуждало у меня злорадное чувство.

Кончив молиться, дед говорил мне и бабушке:

— Здравствуйте!

Мы кланялись и наконец садились за стол. Тут я говорил деду:

— А ты сегодня «довлеет» пропустил!

— Врешь? — беспокойно и недоверчиво спрашивает он.

— Уж пропустил! Надо: «Но та вера моя да довлеет вместо всех», а ты и не сказал «довлеет».

— На-ко вот! — восклицает он, виновато мигая глазами.

Потом он чем-нибудь горько отплатит мне за это указание, но пока, видя его смущенным, я торжествую.

Однажды бабушка шутливо сказала:

— А скушно, поди-ка, богу-то слушать моленье твое, отец,— всегда ты твердишь одно да все то же.

— Чего-о это? — зловеще протянул он.— Чего ты мычишь?

— Говорю, от своей-то души ни словечка господу не подаришь ты никогда, сколько я ни слышу!

Он побагровел, затрясся и, подпрыгнув на стуле, бросил блюдечко в голову ей, бросил и завизжал, как пила на сучке:

— Вон, старая ведьма!

Рассказывая мне о необоримой силе божией, он всегда и прежде всего подчеркивал ее жестокость: вот согрешили люди — и потоплены, еще согрешили — и сожжены, разрушены города их; вот бог наказал людей голодом и мором, и всегда он — меч над землею, бич грешникам.

— Всяк, нарушающий непослушанием законы божии, наказан будет горем и погибелью! — постукивая костями тонких пальцев по столу, внушал он.

Мне было трудно поверить в жестокость бога. Я подозревал, что дед нарочно придумывает все это, чтобы внушить мне страх не пред богом, а пред ним. И я откровенно спрашивал его:

— Это ты говоришь, чтобы я слушался тебя?

А он так же откровенно отвечал:

— Ну, конешно! Еще бы не слушался ты?!

— А как же бабушка?

— Ты ей, старой дуре, не верь! — строго учил он.— Она смолоду глупа, она безграмотна и безумна. Я вот прикажу ей, чтобы не смела она говорить с тобой про эти великие дела! Отвечай мне: сколько есть чинов ангельских?

Я отвечал и спрашивал:

— А кто такие чиновники?

— Эк тебя мотает! — усмехался он, пряча глаза, и, пожевав губами, объяснял неохотно:

— Это бога не касаемо, чиновники, это — человеческое! Чиновник суть законоед, он законы жрет.

— Какие законы?

— Законы? Это значит — обычаи,— веселее и охотнее говорил старик, поблескивая умными, колючими глазами.— Живут люди, живут и согласятся: вот этак лучше всего, это мы и возьмем себе за обычай, поставим правилом, законом! Примерно: ребятишки, собираясь играть, уговариваются, как игру вести, в каком порядке. Ну, вот уговор этот и есть закон!

— А чиновники?

— А чиновник озорнику подобен, придет и все законы порушит.

— Зачем?

— Ну, этого тебе не понять! — строго нахмурясь, говорит он и снова внушает:

— Надо всеми делами людей — господь! Люди хотят одного, а он — другого. Все человечье непрочно. Дунет господь, — и всё во прах, в пыль.

У меня было много причин интересоваться чиновниками, и я допытывался:

— А вон дядя Яков поет:

Светлы ангелы — божии чины,
А чиновники — холопи сатаны!

Дед приподнял ладонью бородку, сунул ее в рот и закрыл глаза. Щеки у него дрожали. Я понял, что он внутренно смеется.

— Связать бы вас с Яшкой по ноге да пустить по воде! — сказал он.— Песен этих ни ему петь, ни тебе слушать не надобно. Это — кулугурские шутки, раскольниками придумано, еретиками.

И, задумавшись, устремив глаза куда-то через меня, он тихонько тянул:

— Эх вы-и...

Но, ставя бога грозно и высоко над людьми, он, как и бабушка, тоже вовлекал его во все свои дела,— и его и бесчисленное множество святых угодников. Бабушка же как будто совсем не знала угодников, кроме Николы, Юрия, Фрола и Лавра, хотя они тоже были очень добрые и близкие людям: ходили по деревням и городам, вмешиваясь в жизнь людей, обладая всеми свойствами их. Дедовы же святые были почти все мученики, они свергали идолов, спорили с римскими царями, и за это их пытали, жгли, сдирали с них кожу.

Иногда дед мечтал:

— Помог бы господь продать домишко этот, хоть с пятьюстами пользы,— отслужил бы я молебен Николе Угоднику!

Бабушка, посмеиваясь, говорила мне:

— Так ему, старому дураку, Никола и станет дома продавать,— нет у него, Николы-батюшки, никакого дела лучше-то!

У меня долго хранились дедовы святцы, с разными надписями его рукою. В них, между прочим, против дня Иоакима и Анны было написано рыжими чернилами и прямыми буквами: «Избавили от беды милостивцы».

Я помню эту «беду»: заботясь о поддержке неудавшихся детей, дедушка стал заниматься ростовщичеством, начал тайно принимать вещи в заклад. Кто-то донес на него, и однажды ночью нагрянула полиция с обыском. Была великая суета, но все кончилось благополучно; дед молился до восхода солнца и утром при мне написал в святцах эти слова.

Перед ужином он читал со мною псалтирь, часослов или тяжелую книгу Ефрема Сирина, а поужинав, снова становился на молитву, и в тишине вечерней долго звучали унылые, покаянные слова:

— «Что ти принесу или что ти воздам, великодаровитый бессмертный царю... И соблюди нас от всякого мечтания... Господи, покрый мя от человек некоторых... Даждь ми слезы и память смертную...»

А бабушка нередко говаривала:

— Ой, как седни устала я! Уж, видно, не помолясь лягу...

Дед водил меня в церковь: по субботам — ко всенощной, по праздникам — к поздней обедне. Я и во храме разделял, когда какому богу молятся: все, что читают священник и дьячок,— это дедову богу, а певчие поют всегда бабушкину.

Я, конечно, грубо выражаю то детское различие между богами, которое, помню, тревожно раздвояло мою душу, но дедов бог вызывал у меня страх и неприязнь: он не любил никого, следил за всем строгим оком, он, прежде всего, искал и видел в человеке дурное,

злое, грешное. Было ясно, что он не верит человеку, всегда ждет покаяния и любит наказывать.

В те дни мысли и чувства о боге были главной пищей моей души, самым красивым в жизни,— все же иные впечатления только обижали меня своей жестокостью и грязью, возбуждая отвращение и злость. Бог был самым лучшим и светлым из всего, что окружало меня,— бог бабушки, такой милый друг всему живому. И, конечно, меня не мог не тревожить вопрос: как же это дед не видит доброго бога? [...]

Богородица

[...] Лес, еловый и березовый, стоял на болоте, верстах в трех от слободы. Обилен сухостоем и валежником, он размахнулся в одну сторону до Оки, в другую — шел до шоссейной дороги на Москву, и дальше, за дорогу. Над его мягкой щетиной черным шатром высоко поднималась сосновая чаща — «Савелова Грива».

Все это богатство принадлежало графу Шувалову и охранялось плохо; кунавинское мещанство смотрело на него как на свое, собирало валежник, рубило сухостой, не брезгуя при случае и живым деревом. По осени, запасая дрова на зиму, в лес снаряжались десятки людей с топорами и веревками за поясом.

Вот и мы трое идем на рассвете по зелено-серебряному росному полю; слева от нас, за Окою, над рыжими боками Дятловых гор, над белым Нижним-Новгородом в холмах зеленых садов, в золотых главах церквей, встает не торопясь русское лениввенькое солнце. Тихий ветер сонно веет с тихой, мутной Оки, качаются золотые

лютики, отягченные росою, лиловые колокольчики немотно опустились к земле, разноцветные бессмертники сухо торчат на малоплодном дерне, раскрывает алые звезды «ночная красавица» — гвоздика...

Темною ратью двигается лес навстречу нам. Крылатые ели — как большие птицы; березы — точно девушки. Кислый запах болота течет по полю. Рядом со мною идет собака, высунув розовый язык, останавливается и, принюхавшись, недоуменно качает лисьей головой. [...]

Входим в лес по мокрой тропе, среди болотных кочек и хилого ельника. Мне кажется, что это очень хорошо — навсегда уйти в лес, как ушел Кирилло из Пуреха. В лесу нет болтливых людей, драк, пьянства, там забудешь о противной жадности деда, о песчаной могиле матери, обо всем, что, обижая, давит сердце тяжелой скукой. [...]

Дед рубит валежник, я должен сносить нарубленное в одно место, но я незаметно ухожу в чащу, вслед за бабушкой,— она тихонько плавает среди могучих стволов и, точно ныряя, все склоняется к земле, осыпанной хвоей. Ходит и говорит сама с собою:

— Рано опята пошли — мало будет гриба! Плохо ты, господи, о бедных заботишься, бедному и гриб — лакомство!

Я иду за нею молча, осторожно, заботясь, чтобы она не замечала меня: мне не хочется мешать ее беседе с богом, травами, лягушками...

Но она видит меня.

— Сбежал от деда-то?

И, кланяясь черной земле, пышно одетой в узорчатую ризу трав, она говорит о том, как однажды бог, во гневе на людей, залил землю водою и потопил все живое.

— А премилая мать его собрала заране все семена в лукошко, да и спрятала, а после просит солнышко: осуши землю из конца в конец, за то люди тебе славу споют! Солнышко землю высушило, а она ее спрятанным зерном и засеяла. Смотрит господь: опять обрастает земля живым — и травами, и скотом, и людьми!.. Кто это, говорит, наделал против моей воли? Тут она ему покаялась, а господу-то уж и самому жалко было видеть землю пустой, и говорит он ей: это хорошо ты сделала!

Мне нравится рассказ, но я удивлен и пресерьезно говорю:

— Разве так было? Божья-то матерь родилась долго спустя после потопа.

Теперь бабушка удивлена.

— Это кто тебе сказал?

— В училище, в книжках написано...

Это ее успокаивает, она советует мне:

— А ты брось-ка, забудь это, книжки все; врут они, книжки-то!

И смеется тихонько, весело.

— Придумали, дурачки! Бог — был, а матери у него не было, эко! От кого же он родился?

— Не знаю.

— Вот хорошо! До «не знаю» доучился!

— Поп говорил, что божья матерь родилась от Иоакима и Анны.

— Марья Якимовна, значит?

Бабушка уже сердится,— стоит против меня и строго смотрит прямо в глаза мне:

— Если ты эдак будешь думать, я тебя так-то ли отшлепаю!

Но через минуту объясняет мне:

— Богородица всегда была, раньше всего! От нее родился бог, а потом...

— А Христос — как же?

Бабушка молчит, смущенно закрыв глаза.

— А Христос... да, да, да?

Я вижу, что победил, запутал ее в тайнах божьих, и это мне неприятно.

Уходим все дальше в лес, в синеватую мглу, изрезанную золотыми лучами солнца. В тепле и уюте леса тихонько дышит какой-то особенный шум, мечтательный и возбуждающий мечты. Скрипят клесты, звенят синицы, смеется кукушка, свистит иволга, немолчно звучит ревнивая песня зяблика, задумчиво поет странная птица — щур. Изумрудные лягушата прыгают под ногами; между корней, подняв золотую головку, лежит уж и стережет их. Щелкает белка, в лапах сосен мелькает ее пушистый хвост; видишь невероятно много, хочется видеть все больше, идти все дальше.

Между стволов сосен являются прозрачные, воздушные фигуры огромных людей и исчезают в зеленой густоте; сквозь нее просвечивает голубое, в серебре, небо. Под ногами пышным ковром лежит мох, расшитый брусничником и сухими нитями клюквы, костяника сверкает в траве каплями крови, грибы дразнят крепким запахом.

— Пресвятая богородица, ясный свет земной,— вздыхая, молится бабушка.

Она в лесу — точно хозяйка и родная всему вокруг,— она ходит медведицей, все видит, все хвалит и благодарит. От нее — точно тепло течет по лесу, и ког-

да мох, примятый ее ногой, расправляется и встает — мне особенно приятно это видеть.

Идешь и думаешь: хорошо быть разбойником, грабить жадных, богатых, отдавать награбленное бедным,— пусть все будут сыты, веселы, не завистливы и не лаются друг с другом, как злые псы. Хорошо также дойти до бабушкина бога, до ее богородицы и сказать им всю правду о том, как плохо живут люди, как нехорошо, обидно хоронят они друг друга в дрянном песке. И сколько вообще обидного на земле, чего вовсе не нужно. Если богородица поверит мне, пусть даст такой ум, чтоб я мог все устроить иначе, получше как-нибудь. Пусть бы люди слушали меня с доверием,— уж я бы поискал, как жить лучше! Это ничего, что я маленький,— Христос был всего на год старше меня, а уж в то время мудрецы его слушали... [...]

На исповеди

[...] Однажды дед пришел из города мокрый весь — была осень, и шли дожди — встряхнулся у порога, как воробей, и торжественно сказал:

— Ну, шалыган, завтра сбирайся на место!

— Куда еще? — сердито спросила бабушка.

— К сестре твоей Матрене, к сыну ее...

— Ох, отец, худо ты выдумал!

— Молчи, дура! Может, его чертежником сделают.

Бабушка молча опустила голову. [...]

Я снова в городе, в двухэтажном белом доме, похожем на гроб, общий для множества людей. Дом — но-

вый, но какой-то худосочный, вспухший, точно нищий, который внезапно разбогател и тотчас объелся до ожирения. Он стоит боком на улицу, в каждом этаже его по восемь окон, а там, где должно бы находиться лицо дома,— по четыре окна; нижние смотрят в узенький проезд, на двор, верхние — через забор, на маленький домик прачки и в грязный овраг.

Улицы, как я привык понимать ее,— нет; перед домом распластался грязный овраг, в двух местах его перерезали узкие дамбы. Налево овраг выходит к арестантским ротам, в него сваливают мусор со дворов, и на дне его стоит лужа густой, темно-зеленой грязи; направо, в конце оврага, киснет илистый Звездин пруд, а центр оврага — как раз против дома; половина засыпана сором, заросла крапивой, лопухами, конским щавелем, в другой половине священник Доримедонт Покровский развел сад; в саду — беседка из тонких дранок, окрашенных зеленою краской. Если в эту беседку бросать камни — дранки с треском лопаются.

Место донельзя скучное, нахально грязное; осень жестоко изуродовала сорную глинистую землю, претворив ее в рыжую смолу, цепко хватающую за ноги. Я никогда еще не видал так много грязи на пространстве столь небольшом, и, после привычки к чистоте поля, леса, этот угол города возбуждал у меня тоску. [...]

Гулять меня не пускали, да и времени не было гулять: короткий зимний день истлевал в суете домашней работы неуловимо быстро.

Но я обязан был ходить в церковь; по субботам — ко всенощной, по праздникам — к поздней обедне.

Мне нравилось бывать в церквах; стоя где-нибудь в углу, где просторнее и темней, я любил смотреть издали на иконостас — он точно плавится в огнях свеч, стекая густо-золотыми ручьями на серый каменный пол амвона; тихонько шевелятся темные фигуры икон; весело трепещет золотое кружево царских врат, огни свеч повисли в синеватом воздухе, точно золотые пчелы, а головы женщин и девушек похожи на цветы.

Все вокруг гармонично слито с пением хора, все живет странною жизнью сказки, вся церковь медленно покачивается, точно люлька,— качается в густой, как смола, темной пустоте.

Иногда мне казалось, что церковь погружена глубоко в воду озера, спряталась от земли, чтобы жить особенною, ни на что не похожею жизнью. Вероятно, это ощущение было вызвано у меня рассказом бабушки о граде Китеже, и часто я, дремотно покачиваясь вместе со всем окружающим, убаюканный пением хора, шорохом молитв, вздохами людей, твердил про себя певучий, грустный рассказ:

Обложили окаянные татарове
Да своей поганой силищей,
Обложили они славен Китеж-град
Да во светлый час, заутренний...
    Ой ли, господи, боже наш,
    Пресвятая богородица!
Ой, сподобьте вы рабей своих
Достоять им службу утренню,
Дослушать святое писание!
    Ой, не дайте татарину
    Святу церкву на глумление,
    Жен, девиц — на посрамление,
    Малых детушек — на игрище,
    Старых старцев на смерть лютую!

А услышал господь Саваоф,
Услыхала богородица
Те людские воздыхания,
Христианские жалости.
И сказал господь Саваоф
Свет архангеле Михаиле:
— А поди-ка ты, Михайло,
Сотряхни землю под Китежем,
Погрузи Китеж во озеро;
Ин пускай там люди молятся
Без отдыху да без устали
От заутрени до всенощной
Все святы службы церковные
Во веки и века веков!

В те годы я был наполнен стихами бабушки, как улей медом; кажется, я и думал в формах ее стихов.

В церкви я не молился,— было неловко пред богом бабушки повторять сердитые дедовы молитвы и плачевные псалмы; я был уверен, что бабушкину богу это не может нравиться, так же, как не нравилось мне, да к тому же они напечатаны в книгах, — значит, бог знает их на память, как и все грамотные люди.

Поэтому в церкви, в те минуты, когда сердце сжималось сладкой печалью о чем-то или когда его кусали и царапали маленькие обиды истекшего дня, я старался сочинять свои молитвы; стоило мне задуматься о невеселой доле моей — сами собою, без усилий, слова слагались в жалобы:

Господи, господи — скушно мне!
Хоть бы уж скорее вырасти!
А то — жить терпенья нет,
Хоть удавись, — господи прости!

Из ученья — не выходит толку.
Чертова кукла, бабушка Матрена,
Рычит на меня волком,
И жить мне — очень солоно!

Много «молитв» моих я и до сего дня помню,— работа ума в детстве ложится на душу слишком глубокими шрамами — часто они не зарастают всю жизнь.

В церкви было хорошо, я отдыхал там так же, как в лесу и поле. Маленькое сердце, уже знакомое со множеством обид, выпачканное злой грубостью жизни, омывалось в неясных, горячих мечтах.

Но я ходил в церковь только в большие морозы или когда вьюга бешено металась по городу, когда кажется, что небо замерзло, а ветер распылил его в облака снега, и земля, тоже замерзая под сугробами, никогда уже не воскреснет, не оживет.

Тихими ночами мне больше нравилось ходить по городу, из улицы в улицу, забираясь в самые глухие углы. Бывало, идешь — точно на крыльях несешься; один, как луна в небе; перед тобою ползет твоя тень, гасит искры света на снегу, смешно тычется в тумбы, в заборы. Посредине улицы шагает ночной сторож, с трещоткой в руках, в тяжелом тулупе, рядом с ним — трясется собака. [...]

Иногда встретятся веселые барышни и кавалеры — я думаю, что и они тоже убежали от всенощной.

Порою, сквозь форточки освещенных окон, в чистый воздух прольются какие-то особенные запахи — тонкие, незнакомые, намекающие на иную жизнь, неведомую мне; стоишь под окном и, принюхиваясь, прислушиваясь — догадываешься: какая это жизнь, что за люди живут в этом доме? Всенощная, а они — весело шумят,

смеются, играют на каких-то особенных гитарах, из форточки густо течет меднострунный звон. [...]

Много подобных картин навсегда осталось в памяти моей, и часто, увлеченный ими, я опаздывал домой. Это возбуждало подозрения хозяев, и они допрашивали меня:

— В какой церкви был? Какой поп служил?

Они знали всех попов города, знали, когда какое евангелие читают, знали все — им было легко поймать меня во лжи.

Обе женщины поклонялись сердитому богу моего деда,— богу, который требовал, чтобы к нему приступали со страхом; имя его постоянно было на устах женщин,— даже ругаясь, они грозили друг другу:

— Погоди! Господь тебя накажет, он те скрючит, подлую!..

В воскресенье первой недели поста старуха пекла оладьи, а они всё подгорали у нее; красная от огня, она гневно кричала:

— А, черти бы вас взяли...

И вдруг, понюхав сковороду, потемнела, швырнула сковородник на пол и завыла:

— Ба-атюшки, сковорода-то скоромная, поганая, не выжгла ведь я ее в чистый-то понедельник, го-осподи!

Встала на колени и просила со слезами:

— Господи-батюшка, прости меня, окаянную, ради страстей твоих! Не покарай, господи, дуру старую...

Выпеченные оладьи отдали собакам, сковородку выжгли, а невестка стала в ссорах упрекать свекровь:

— Вы даже в посте на скоромных сковородах печете...

Они вовлекали бога своего во все дела дома, во все углы своей маленькой жизни,— от этого нищая жизнь приобретала внешнюю значительность и важность, казалась ежечасным служением высшей силе. Это вовлечение бога в скучные пустяки подавляло меня, и невольно я все оглядывался по углам, чувствуя себя под чьим-то невидимым надзором, а ночами меня окутывал холодным облаком страх, — он исходил из угла кухни, где перед темными образами горела неугасимая лампада.

Рядом с полкой — большое окно, две рамы, разъединенные стойкой; бездонная синяя пустота смотрит в окно, кажется, что дом, кухня, я — все висит на самом краю этой пустоты и, если сделать резкое движение, все сорвется в синюю, холодную дыру и полетит куда-то мимо звезд, в мертвой тишине, без шума, как тонет камень, брошенный в воду. Долго я лежал неподвижно, боясь перевернуться с боку на бок, ожидая страшного конца жизни.

Не помню, как я вылечился от этого страха, но я вылечился скоро; разумеется, мне помог в этом добрый бог бабушки, и я думаю, что уже тогда почувствовал простую истину: мною ничего плохого еще не сделано, без вины наказывать меня — не закон, а за чужие грехи я не ответчик.

Прогуливал я и обедни, особенно весною,— непоборимые силы ее решительно не пускали меня в церковь. Если же мне давали семишник на свечку — это окончательно губило меня: я покупал бабок, всю обедню играл и неизбежно опаздывал домой. А однажды ухитрился проиграть целый гривенник, данный мне на поминание

и просфору, так что уж пришлось стащить чужую просфору с блюда, которое дьячок вынес из алтаря. [...]

Великим постом меня заставили говеть, и вот я иду исповедоваться к нашему соседу, отцу Доримедонту Покровскому. Я считал его человеком суровым и был во многом грешен лично перед ним: разбивал камнями беседку в его саду, враждовал с его детьми, и вообще он мог напомнить мне немало разных поступков, неприятных ему. Это меня очень смущало, и, когда я стоял в бедненькой церкви, ожидая очереди исповедоваться, сердце мое билось трепетно.

Но отец Доримедонт встретил меня добродушно ворчливым восклицанием:

— А, сосед... Ну, вставай на колени! В чем грешен?

Он накрыл голову мою тяжелым бархатом, я задыхался в запахе воска и ладана, говорить было трудно и не хотелось.

— Старших слушаешься?

— Нет.

— Говори — грешен!

Неожиданно для себя я выпалил:

— Просвиры воровал.

— Это — как же? Где? — спросил священник, подумав и не спеша.

— У Трех Святителей, у Покрова, у Николы...

— Ну-ну, по всем церквам! Это, брат, нехорошо, грех,— понимаешь?

— Понимаю.

— Говори — грешен! Несуразный. Воровал-то, чтобы есть?

— Когда — ел, а то — проиграю деньги в бабки, а просвиру домой надо принести, я и украду...

Отец Доримедонт начал что-то шептать, невнятно и устало, потом задал еще несколько вопросов и вдруг строго спросил:

— Не читал ли книг подпольного издания?

Я, конечно, не понял вопроса и переспросил:

— Чего?

— Запрещенных книжек не читал ли?

— Нет, никаких...

— Отпускаются тебе грехи твои... Встань!

Я удивленно взглянул в лицо ему — оно казалось задумчивым и добрым. Мне было неловко, совестно: отправляя меня на исповедь, хозяева наговорили о ней страхов и ужасов, убедив каяться честно во всех прегрешениях моих.

— Я в вашу беседку камнями кидал,— заявил я.

Священник поднял голову и сказал:

— И это нехорошо! Ступай...

— И в собаку кидал...

— Следующий!— позвал отец Доримедонт, глядя мимо меня.

Я ушел, чувствуя себя обманутым и обиженным: так напрягался в страхе исповеди, а все вышло не страшно и даже не интересно. [...]

На другой день мне дали пятиалтынный и отправили меня причащаться. Пасха была поздняя, уже давно стаял снег, улицы просохли, по дорогам курилась пыль; день был солнечный, радостный.

Около церковной ограды азартно играла в бабки большая компания мастеровых; я решил, что успею причаститься, и попросил игроков:

— Примите меня!

— Копейку за вход в игру,— гордо заявил рябой и рыжий человек.

Но я не менее гордо сказал:

— Три под вторую пару слева!

— Деньги на кон!

И началась игра!

Я разменял пятиалтынный, положил три копейки под пару бабок в длинный кон; кто собьет эту пару — получает деньги, промахнется — я получу с него три копейки. Мне посчастливилось: двое целились в мои деньги, и оба не попали,— я выиграл шесть копеек со взрослых, с мужиков. Это очень подняло дух мой... [...]

Больше трех раз кряду нельзя ставить деньги на кон,— я стал бить чужие ставки и выиграл еще копейки четыре да кучу бабок. Но когда снова дошла очередь до меня, я поставил трижды и проиграл все деньги, как раз вовремя: обедня кончилась, звонили колокола, народ выходил из церкви.

— Женат? — спросил скорняк, намереваясь схватить меня за волосы, но я вывернулся, убежал и, догнав какого-то празднично одетого паренька, вежливо осведомился:

— Вы причащались?

— Ну, так что? — ответил он, осматривая меня подозрительно.

Я попросил его рассказать мне, как причащают, что говорит в это время священник и что должен был делать я.

Парень сурово избычился и устрашающим голосом зарычал:

— Прогулял причастье, еретик? Ну, а я тебе ничего не скажу — пускай отец шкуру спустит с тебя!

Я побежал домой, уверенный, что начнут расспрашивать и неизбежно узнают, что я не причащался.

Но, поздравив меня, старуха спросила только об одном:

— Дьячку за теплоту — много ли дал?

— Пятачок,— наобум сказал я.

— И три копейки — за глаза ему, а семишник себе оставил бы, чучело! [...]

Человек, бог и люди

Я решил заняться ловлей певчих птиц; мне казалось, что это хорошо прокормит: я буду ловить, а бабушка — продавать. Купил сеть, круг, западни, наделал клеток, и вот, на рассвете, я сижу в овраге, в кустах, а бабушка с корзиной и мешком ходит по лесу, собирая последние грибы, калину, орехи. [...]

Мне немножко жалко ловить пичужек, совестно сажать их в клетки, мне больше нравится смотреть на них, но охотничья страсть и желание заработать денег побеждают сожаление. [...]

К полудню я кончаю ловлю, иду домой лесом и полями,— если идти большой дорогой, через деревни, мальчишки и парни отнимут клетки, порвут и поломают снасть,— это уж было испытано мною.

Я прихожу к вечеру усталый, голодный, но мне кажется, что за день я вырос, узнал что-то новое, стал сильнее. Эта новая сила дает мне возможность слушать злые насмешки деда спокойно и беззлобно; видя это, дед начинал говорить толково, серьезно:

— Бросай пустые-то дела, брось! Через птиц никто в люди не выходил, не было такого случая, я знаю!

Избери-ка ты себе место и расти на нем свой разум. Человек не для пустяков живет, он — богово зерно, он должен дать колос зерен добрых! Человек — вроде рубля: перевернулся в хорошем обороте — три целковых стало! Думаешь, легко жить-то? Нет, очень не легко! Мир человеку — темная ночь, каждый сам себе светить должен. Всем дано по десятку пальцев, а всякий хочет больше взять своими-то руками. Надо явить силу, а нет силы — хитрость; кто мал да слаб, тот — ни в рай, ни в ад! Живи будто со всеми, а помни, что — один; всякого слушай, никому не верь; на глаз поверишь, криво отмеришь. Помалкивай,— дома да города строят не языком, а рублем да топором. Ты не башкирец, не калмык, у коих все богатство — вши да овцы...

Он мог говорить этими словами целый вечер, и я знал их на память. Слова нравились мне, но к смыслу их я относился недоверчиво. Из его слов было ясно, что человеку мешают жить, как он хочет, две силы: бог и люди.

Сидя у окна, бабушка сучила нитки для кружев; жужжало веретено в ее ловких руках, она долго слушала дедову речь молча и вдруг говорила:

— Все будет так, как матерь божия улыбнется.

— Чего это? — кричал дед. — Бог! Я про бога не забыл, я бога знаю! Дура старая, что — бог-то дураков на землю посеял, что ли? [...]

Хранители веры

Позднею осенью [...] я поступил учеником в мастерскую иконописи, но через день хозяйка моя, мягкая и

пьяненькая старушка, объявила мне владимирским говором:

— Дни теперя коротенькие, вечера длинные, так ты с утра будешь в лавку ходить, мальчиком при лавке постоишь, а вечерами — учись!

И отдала меня во власть маленького, быстроногого приказчика, молодого парня с красивеньким, приторным лицом. [...] Приспособленная из кладовой, темная, с железною дверью и одним маленьким окном на террасу, крытую железом, лавка была тесно набита иконами разных размеров, киотами, гладкими и с «виноградом», книгами церковнославянской печати, в переплетах желтой кожи. Рядом с нашей лавкой помещалась другая, в ней торговал тоже иконами и книгами чернобородый купец, родственник староверческого начетчика, известного за Волгой, в керженских краях; при купце — сухонький и бойкий сын, моего возраста, с маленьким серым личиком старика, с беспокойными глазами мышонка. [...]

— Покупатель — дурак, — уверенно говорил мне приказчик. — Ему все едино, где купить, лишь бы дешево, а в товаре он не понимает!

Быстро щелкая дощечками икон, хвастаясь тонким знанием дела, он поучал меня:

— Мстёрской работы — товар дешевый, три вершка на четыре — себе стоит... шесть вершков на семь — себе стоит... Святых знаешь? Запомни: Вонифатий — от запоя; Варвара великомученица — от зубной боли, нечаянныя смерти; Василий Блаженный — от лихорадки, горячки... Богородиц знаешь? Гляди: Скорбящая, Троеручица, Абалацкая-Знамение. Не рыдай мене, мати,

Утоли моя печали, Казанская, Покрова, Семистрельная...

Я быстро запомнил цены икон по размерам и работе, запомнил различия в иконах богородиц, но запомнить значение святых было нелегко.

Задумаешься, бывало, о чем-нибудь, стоя у двери лавки, а приказчик вдруг начнет проверять мои знания:

— Трудных родов разрешитель — кто будет?

Если я ошибаюсь, он презрительно спрашивает:

— Для чего у тебя голова?

Еще труднее было зазывать покупателей; уродливо написанные иконы не нравились мне, продавать их было неловко. По рассказам бабушки я представлял себе богородицу молодой, красивой, доброй; такою она была и на картинках журналов, а иконы изображали ее старой, строгой, с длинным, кривым носом и деревянными ручками. [...]

В лавке соседа гудит мягкий, сладкий голос, течет одуряющая речь:

— Мы, родимый, не овчиной торгуем, не сапогом, а — божьей благодатью, которая превыше сребра-злата, и нет ей никакой цены...

— Ч-черт! — шепчет мой приказчик с завистью и восхищением. — Здорово заливает глаза мужику! Учись! Учись! [...]

Весьма часто старики и старухи приносили продавать древнепечатные книги дониконовских времен или списки таких книг, красиво сделанные скитницами на Иргизе и Керженце; списки миней, не правленных Дмитрием Ростовским; древнего письма иконы, кресты и медные складни с финифтью, поморского литья, серебряные ковши, даренные московскими князьями кабац-

ким целовальникам; все это предлагалось таинственно, с оглядкой, из-под полы.

И мой приказчик и наш сосед очень зорко следили за такими продавцами, стараясь перехватить их друг у друга; покупая древности за рубли и десятки рублей, они продавали их на ярмарке богатым старообрядцам за сотни.

Приказчик поучал меня:

— Ты следи за этими лешими, за колдуньями, во все глаза следи! Они счастье с собой приносят. [...]

Нередко приходили еще начетчики: Пахомий, человек с большим животом, в засаленной поддевке, кривой на один глаз, обрюзглый и хрюкающий; Лукиан, маленький старичок, гладкий, как мышь, ласковый и бойкий, а с ним большой, мрачный человек, похожий на кучера, чернобородый, с мертвым лицом, неприятным, но красивым, с неподвижными глазами.

Почти всегда они приносили продавать старинные книги, иконы, кадильницы, какие-то чаши; иногда приводили продавцов — старуху или старика из-за Волги. Кончив дела, усаживались у прилавка, точно вороны на меже, пили чай с калачами и постным сахаром и рассказывали друг другу о гонениях со стороны никонианской церкви: там — сделали обыск, отобрали богослужебные книги; тут — полиция закрыла молельню и привлекла хозяев ее к суду по 103 статье. Эта 103 статья чаще всего являлась темой их бесед, но они говорили о ней спокойно, как о чем-то неизбежном, вроде морозов зимою.

Слова — полиция, обыск, тюрьма, суд, Сибирь, — слова, постоянно звучавшие в их беседах о гонении за веру, падали на душу мне горячими углями, разжигая

симпатию и сочувствие к этим старикам; прочитанные книги научили меня уважать людей, упорных в достижении своих целей, ценить духовную стойкость.

Я забывал все плохое, что видел в этих учителях жизни, чувствовал только их спокойное упорство, за которым — мне казалось — скрыта непоколебимая вера учителей в свою правду, готовность принять за правду все муки.

Впоследствии, когда мне удалось видеть много таких и подобных хранителей старой веры, и в народе и в интеллигенции, я понял, что это упорство — пассивность людей, которым некуда идти с того места, где они стоят, да и не хотят они никуда идти, ибо, крепко связанные путами старых слов, изжитых понятий, они остолбенели в этих словах и понятиях. Их воля неподвижна, не способна развиваться в направлении к будущему и, когда какой-либо удар извне сбрасывает их с привычного места, они механически катятся вниз, точно камень с горы. Они держатся на своих постах у погоста отживших истин мертвою силою воспоминаний о прошлом и своей болезненной любовью к страданию, угнетению, но, если отнять у них возможность страдания, они, опустошенные, исчезают, как облака в свежий ветреный день.

Вера, за которую они с удовольствием и с великим самолюбованием готовы пострадать, — это, бесспорно, крепкая вера, но напоминает она заношенную одежду,— промасленная всякой грязью, она только поэтому мало доступна разрушающей работе времени. Мысль и чувство привыкли к тесной, тяжелой оболочке предрассудков и догматов и хотя обескрылены, изуродованы, но живут уютно, удобно.

Эта вера по привычке — одно из наиболее печальных и вредных явлений нашей жизни; в области этой веры, как в тени каменной стены, все новое растет медленно, искаженно, вырастает худосочным. В этой темной вере слишком мало лучей любви, слишком много обиды, озлобления и зависти, всегда дружной с ненавистью. Огонь этой веры — фосфорический блеск гниения. [...]

ЗНАХАРКА

■

...На завалине ветхой избы сухонький старик Мокеев, без рубахи, греет изношенную кожу свою на ярком солнце июня, чинит бредень крючковатыми пальцами. Под кожей старика жалобно торчат скобы ключиц, осторожно двигаются кости ребер.

День — великолепен; честно работает солнце, отлично пахнет цветущая липа, в жарком воздухе — тихая музыка: гудят пчелы; во дни косьбы они трудятся как будто особенно упорно.

— Прохожий один сказывал, — сипит Мокеев, — дескать, человечье житье — благо, и выходит так, что не одни господа, а всяк человек, хоша бы и мужик, тоже — благородие. А мы говорим: благой, так это будет несуразен, буен,— нехорош, стало быть. У нас все — по-своему...

Он уже с полчаса упражняется в словесности, и его сиплое воркованье хорошо слито с тихим гулом пчел, с чириканьем воробьев, с песнями невидимых жаворонков. Из-за речки доносится звон кос, шарканье точильных лопаток, но все эти звуки не мешают слышать спокойную тишину синего, благоуханно чистого, очень высокого неба. Все вокруг по-русски просто и чудесно.

— Князья-то, Голицыны-то, конешно — князи; тут как хошь дрягайся, оно так и будет — князи. Я и вначале

внушал мужикам — бросьте, али князей пересудишь? А Иваниха натравила их, мужиков. Здорово, Иваниха!

Неслышно подойдя, с нами поравнялась коренастая баба в темном сарафане, в синем платке на уродливо большой голове, с палкой в одной руке, с плотной лыковой корзиной в другой; корзина полна пахучими травами, кореньями. С трудом приподняв тяжелую голову, баба глухо и сердито ответила:

— Здравствуй-ко, болтун...

Ее грубое, мужское лицо, скуластое и темное, украшено седыми усами, исчерчено частой сетью мелких морщин, щеки ее обвисли, как у собаки. Коровьи глаза мутны, красные жилки на белках делают взгляд ее угрюмым. Пальцы левой руки непрерывно шевелятся, я слышу сухой шорох их кожи. Указав на меня палкой, она спросила:

— Это кто?

Мокеев стал многословно объяснять, что я приехал от адвоката, по делу деревни с князьями Голицыными, что в воскресенье будет мирской сход, — не дослушав его, старуха осторожно склонила голову и дотронулась палкой до моего колена.

— Зайди ко мне.

— Куда?

— Скажут. Через часок...

И пошла прочь, странно легко для ее возраста и тяжелого, неуклюжего тела.

С тою гордостью, с какой старики в деревнях рассказывают о своем, необыкновенном, Мокеев рассказал мне, что Иваниха — знахарка, известная всему уезду:

— Ты только не считай, что ведьма, — нет, это у ней от бога! Ее и в Пеньзю возили, девицу лечить безногу, дак

она безногу эту сразу — замуж! И пошла ведь девица, пошла, братец мой. «Дураки, — говорит родителям ейным, — детей, говорит, родите, а — для чё, не знаете». А родители — пребогатые фабриканты. Скота, человека, даже гуся, куру — она всех лечит, ей все едино. В Нижний требовали: обмер там чей-то мальчик и лежит, недели две лежал, хоть в землю закопать. А она ему где-то иглой уколола, дак он к потолку взвился, мальчонко-то, ей за то — двадцать пять рублев да шерстяное платье — получи!

— У нас она — первый человек, ее и на сходе уважают, слушают, даже становой боится. Она ему три зуба выдрала с корнями, дак корни-те по вершку оказались, и с крючьями на концах. Никто не мог выдрать их, а она — все может. Она — бесстрашной жизни и всем тайностям владыка. Взглянет на тебя да как спросит, внезапу: «Ты чего думаешь?» Дак ты ей тут, в душу твою, как дверь отворишь: на, гляди!

Мокеев начал говорить с хвастливой гордостью, но скоро, понизив сипучий, старческий голосок, он сказывал уже со страхом. Крючковатые пальцы его, запутавшись в нитях невода, перестали работать, бессильно легли на острые колени.

Я узнал, что Иваниха — дочь некрещеного мордвина, охотника на медведей и колдуна, убитого во время мордовского движения сороковых годов.

— Отец-то ее самому Кузьке, мордовскому богу *, бунтарю, приятелем был...

---

* В пятидесятых годах XIX столетия мордвин Кузьма пытался развить культурно-национальное движение среди мордвы — мокши и ерзи, — населяющей Нижегородскую губернию.

После смерти отца Иваниха осталась подростком-сиротою, ее окрестили, когда она была уже взрослой девицей, и вскоре после этого на ней женился лесник. Три года она бездетно прожила с ним, а на четвертый, весною, лесника задрал медведь. Иваниху оставили в лесной сторожке, и она начала бить медведей, — леса Сергача славились обилием этого зверя, и до семидесятых годов XIX века мужики «сергачи» были лучшими дрессировщиками и «поводырями» медведей на всю Россию. Била Иваниха зверя «по-мордовски»: обкладывала правую руку лубками, окручивала ее, до плеча, сыромятным ремнем, в кисть брала нож, а в левую руку — короткую, вроде тяпки, секиру. Когда зверь шел на нее, разинув пасть, она била его тяпкой по лапам, и сунув нож в пасть, вспарывала горло медведю.

— Эдак только мордва била медведей, это требует силы зверячьей. Семнадцатый зверь все-таки ребро ей вышиб, а тридцать который-то шею свернул ей несколько, — видал ты, как неладно она шеей владает? От этого. До сорокового зверя она не дошла, забоялась, сороковой медведь — сроковой, судьбинный охотнику, редкие от него уходят живы. Это всему миру известно, — сороковому медведю указан срок жизни охотника.

— У меня, годов с двадцать назад время, жил один индей, знаменитый охотник, из столицы наехал, дак у него ружья были и двустволки, и всякие, и рогатины, и ножики страшенные, а сороковой ничем не постеснился, ободрал ему ухо и бороду, вместе со щекой.

— Почему — индей? Так уж родился, чин у него был — граф, а родом он индей, такой народ есть за Каспийским морем. Там их много живет; волосом синеваты и пьяницы. Персияне? Нет, это другой народ, эти нам

подвластны, вроде бы пленные наши, как татара али — чуваша, мордва, а индей — вольный народ, люди самобытного царя. Им, индеям, полагается золотой зуб во рту, для отлички от других людей. Народ — важный, басовитый. Девок индей этот перепортил у нас за зиму, весну штук пять, не мене. После увезли его лечить. Без бороды у них не допускается жить, стыдно, тем они и похожи на нас, а во всем ином — народ своего обычая. Звали-то его как? А звали его — Федор Карлыч. Ха-арошй барин...

Мокеев говорил, точно с горы ехал извилистой дорогой, и, вероятно, кончил бы речь не раньше ночи, но мне показалось, час истек, и я спросил: где живет Иваниха?

— А во-он-те, избеночка аккуратная на отшибе. Такого дела люди завсегда в сторонке живут...

Когда я подошел к чистенькой избе Иванихи, в открытых воротах стоял воз свежескошенной травы, ось телеги задела за верею, белоголовый подросток тужился попятить буланую лошадь и не успевал в этом. Иваниха, стоя на крыльце, мыла руки под глиняным рукомойником, сердито покрикивая:

— Выпряги! Выпряги, говорю...

Парнишка молча бил лошадь по морде и шипел. Старуха сошла с крыльца, быстро выпрягла коня, приподняла оглобли, наклонилась, упираясь в землю чугунными ногами, вытолкнула телегу на аршин за ворота, ловко обернулась, впряглась в оглобли и легко вкатила телегу во двор, сказав:

— Неслух. Дурак.

— Дак у тея — сила, — обиженно отозвался парнишка, уводя лошадь под поветь.

Мне — семой десяток. На что годитесь, баловни?

Увидев меня, испытующе смерила взглядом и пригласила:

Пожалуй-ко, в избу-то...

Вечернее солнце пристально смотрело в открытые окна избы, на чисто вымытом полу катались пушистые котята, аромат сухих трав наполнял светлую комнату, в переднем углу фыркал паром чистенький самовар. У печи, на полках, блестели бутылки, стеклянные банки, жестяные коробки из-под сардин. Под полатями висели пучки трав: зверобой, буквица, медвежья капуста — некрасивое растение сырых мест, — корешки бодяги, болиголова и какие-то сучья в маленьких связках.

Купечески держа блюдце на растопыренных пальцах, Иваниха спрашивала:

— Что в городе говорят? Земли-то мужикам дадут ли? Глядите — сердятся мужики. Сказал бы ты Голицыным-то, — чего они? Девять лет судятся бесстыдно, а толку ни себе, ни людям. Мотают мужиков. Будто волю дали, а где она, воля? Повесили мужиков над землей, толкутся они, как мошки, вот и вся воля.

Ее темное лицо с тряпичными щеками угнетающе безобразно. Кровавые глаза смотрят в блюдечко, на верхней губе шевелятся мокрые, белые усы, на шее, под левым ухом, волосатая бородавка. Иваниха грызет сахар, чмокает, и ничто, кроме высоко вспухшей груди, не напоминает в ней женщину.

Я осторожно выспрашиваю ее, как она била медведей, она отвечает неохотно и как бы нарочито углубляя глухой, ворчливый голос.

— Сильна была. Меня, в те поры, только два мужика могли одолеть во всей округе. Кроме мужа. Да и мужа я поборола бы, только — нельзя: муж. Шутя я его и

борола, а всерьез — нельзя, не смела этого. Тут у нас мужик лесной, крепкий.

Вспотев, она сняла платок с головы, и в жесткой гриве ее волос обнажились толстые седые пряди. Вытерла платком иссеченное морщинами лицо и окутала им надломленную шею. Ладони рук ее были емки, точно ковши, пальцы же непрерывно шевелились, как бы разбирая, распутывая моток пряжи. Это было неприятно видеть. И вся Иваниха как-то нечеловечески тяжела.

О сороковом медведе она сказала:

— Медведь-зверь — богу служит, Кереметь на медведях в небе ездит, солнце возит. Солнце-то большое, с хороший пруд, тяжелое, все из чистого золота. Люди тоже богу нужны. Пчела служит человеку, человек — богу. Кереметь сказал: «Бей медведя, покуда я терплю, побьешь много — солнце встанет, помни! Тогда пошлю на тебя сильного, он тебя убьет». Человек согласился: человеку скота жалко. Меды жалко, овсы. Медведь много портит.

Почесав концом ножа кожу на голове, она плюнула на ладонь и, пригладив слюною взбитые волосы, уставила в лицо мне свой мутный подавляющий взгляд. Нос у нее широкий, ноздри вывернуты, как у верблюда.

— Вот тебе, молодому, надо знать: баба есть такая, как сороковой медведь. С тремя любишься — ничего, и с девятью — ничего, а встанет на пути твоем четвертая, или там седьмая, — и — конец тебе. Приворожит, привяжет, кроме ее нет у тебя свету, будешь жить, как слепой. Это — судьбинная баба, ее Кереметь в наказание посылает. Богу — детей надо, людей. А когда одна голая игра, без детей, это он не любит. Не надо это ему...

— Вы в церковь ходите? — спросил я. Она как будто удивилась, отвечая угрюмо:

— Мы ходим. Зачем не ходить? У нас церковь хорошая, князьями строена. И поп хороший, умный. Его пчела любит. Мы тут смирно живем, хорошо. Леса округ.

Котята влезли ей на колени, она сгребла огромной лапой своей двух, подняла зверьков к лицу, спросила:

— Ну, что?

И, налив молока в свое блюдце, тут же, на столе, сунула им блюдечко,— этого не сделала бы простая баба.

— Лакайте. А третий где? Братишка?

Братишка грыз мой сапог, я поднял котенка и поставил его на стол.

— Это вот умные звери, они никому не верят, — сказала Иваниха. — И память у них крепка: побей его, он это помнит. Через пять лет вспомнит, когда и не ждешь. А у людей память слаба: не помнят они, кто их бьет...

Сильно завечерело, уже пригнали стадо, по улице шли мужики, плыли мимо окон косы, отражая красноватый, заревой свет, в окна заглядывали бабы.

— Ну, надо мне сходить в улицу, — сказала Иваниха. — Ты почто остановился у Мокеева? Эта семья несчастливая. Ты вдругорядь у меня остановись. Я заезжих люблю.

И, провожая меня за ворота, крикнула какой-то бабе:

— Ой, матушка, неколи...

— Марь, ногу перевязала?

— Дура. Не тронь уж, я сама...

После ужина Мокеев, позвал меня на реку ставить верши, дорогой рассказал, что Иваниха еще недавно, лет десять тому назад, занималась обучением парней технике любви.

— Пятак брала али фунт баранок, она баранки любит с анисом. Сначала — смеялись над ней, после — привыкли. А она ругалась. «Дураки», — кричит. Это у нее первое дело, дураком ругать. «За лошадями, кричит, следите, за коровами следите, скот — жалеете, а девок не жалеете?» Это она, пожалуй, верно кричала. Парни — медведи, делу этому у собак, у скотов глазами учатся, а женятся и начнут девок зря ломать, ничего не умеют. Иной с первого разу жену испорит, а после бьет — не сладка, не охоча...

Светила луна, в воздухе стоял густой, влажный запах свежескошенной травы. Старик запнулся за обнаженный корень дерева, выругался крепко, потом призвал бога и, прихрамывая, перескочил к другому рассказу.

— Ее боятся, Иваниху. Почитают. Она, брат, ух, какая. Прямо скажу...

Подумав, он сказал:

— Полезная. Хотели ее из лесу, из сторожки прогнать, чиновник приехал, — гонит и гонит. «Нет, говорит, ни моды такой, ни закону, чтобы лес сторожила баба. Никогда, говорит, не было этого». Ему докладывают: «Да она хоть и баба, а страшнее лешего». Не верит. Дак она сама пошла на него, как на медведя, обернула кожей руку, нож взяла, все, как надо. Тут он испугался: «Ну те, говорит, к лешему! В Сибирь бы, говорит, надо тебя, черта!» Так она и осталась сторожихой, а после сама ушла из лесу, на ее место кум Яков вступил, его в ту же зиму, пьяного, волки сожрали. Край у нас хороший, тихий край, — заключил старик, несколько неожиданно, а все же с полным убеждением.

Ласково, осторожно выходила из лесов ночь, покрывая луга и поля теплыми тенями, тишина замерла над

синей, лениненькой речкой, и вокруг луны, как пчелы над цветником, сверкали звезды...

...Месяца через три, в праздничный день, мне снова довелось быть в Березянке. Я остановился у Иванихи, собрал мужиков, рассказал им, насколько за это время подвинулось их дело, и осенним вечером, сидя со старухой за чаем, слушал ее речи. Она рассказывала о событиях лета, о пожаре, уничтожившем, по счастью, только три избы, о том, кто чем болел, кто кого избил, о людях, объевшихся грибами, о девочке, которая чего-то испугалась в лесу и обезумела.

— Сидит на печи, в темном уголку, и поет днем, ночью: «Мамонька, бежим, родная, бежим!»

Потом, шевеля пальцами, спросила строго:

— Про землю-то не решили там, у вас?

И когда я ответил: нет еще, — она, недоверчиво взглянув на меня, посоветовала:

— Ты не скрывай. Гляди, болеют мужики об земле...

За окном ветер тряс деревья, хлестал в стекла дождем, гудел в трубе, деревню удушливо обняла осенняя, русская скука, та скука, тоскливей которой только безнадежная, смертельная болезнь.

Мне хотелось спросить знахарку о Кереметри: какой это бог? И когда она, кончив пить чай, перемыв и убрав посуду, села к столу вязать чулок, я осторожно начал выспрашивать.

Неприятно поджав толстые губы, быстро шевеля пальцами, поблескивая сталью спиц, она отвечала неохотно, верблюжьи ноздри ее съежились, и темный нос стал острей.

— Я не поп, бога не знаю, — говорила она.

— А Кереметь — хороший бог?

— Бог — не лошадь, по зубам не узнаешь. Не взглянешь ему в зубы-то...

Она долго отвечала так, сердито и сдержанно, но мне удалось какими-то словами задеть ее и, раздув ноздри, обнажив зеленоватые зубы овцы, еще быстрее перебирая спицы, она заворчала раздраженно:

— Что ты стучишь, как бондарь, — бог, бог? Человека нельзя отдавать богу, как девку старику, нельзя насильно тащить к богу. Не семья будет. Правды не будет.

С удивлением я заметил, что старуха строит речь свою как будто не по-русски, хотя вообще она говорила сочно и складно. Резким жестом она дернула платок на голове, лоб ее стал выше, а из-под мохнатых бровей на меня внушительно уставились другие глаза — светлее, меньше. И все мятое лицо ее тоже стало меньше, тверже.

— Ваш бог — веру любит, Кереметь — правду, — говорила она. — Правда выше веры. Кереметь знает: бог с человеком в дружбе — будет правда! Человечья душа — его душа, он ее черту не даст. Ваш бог, Христос, ничего не хочет, только веры хочет. Кереметь — человека хочет, он знает: бог с человеком — правда, а один бог — это неправда. Он — бережливый. Зверя, рыбу, пчелу — это он дает человеку. Землю дает. Он человеку пастух. Не поп пастух, бог пастух. А у вас — поп. Христос говорит: верь, а Кереметь: делай правду! Сделаешь — друг мой будешь. За деньги правду не сделаешь. Попы — деньги любят. Они Христа с Кереметью стравили, как собак, дерутся оба, сердятся, ваш — на нас, наш — на вас.

Она перестала вязать чулок, бросив на стол шерсть и спицы, и, шлепая губами, говорила глухо, угрюмо:

— Мордва не люди стали, кому верить — не знают. И вы — не люди. Кереметь сердит на вас, мешает жить,

оба они мешают, один — вам, другой — нам. Злые оба. Бог человеком питается, а человек стал тоже злой, горький стал...

Посветлевшие глаза старухи блестели укоризненно и жестко, она становилась все меньше похожа на русскую, и что-то властное звучало в ее словах. Медленно разгибая сломанную шею, она точно намеревалась ударить меня головою, и это было так неприятно, что я выпрямился на стуле. И все чаще встречались в ее речи слова чужие мне, мордовские слова. Мое движение, видимо, несколько успокоило ее, она схватила чулок со стола, и снова быстро замелькали спицы. Помолчав, она заговорила тише:

— Бог злой, человек злой, поп хуже всех злой. Людей надо разделить честно: тех — этому богу, этих — тому. Тогда боги будут жить дружно. У каждого свое стадо. Хорошие хозяева враждой не живут. Вы говорите: «Бог правду любит, да не скоро скажет» — зачем не скоро? Знаешь — сейчас скажи! Кереметь знает: правда лучше веры. Он говорил, а когда его травить стали — замолчал. Обиделся, — живите без меня. Это плохо нам. Это черту — хорошо...

Ко мне пришли мокрые мужики; отфыркиваясь, вытирая ладонями бороды, они уселись на лавку и повели осторожную беседу о городе, о земле, нащупывая: нет ли каких признаков, что жизнь станет легче? Не нащупали.

А когда они, тяжко вздыхая, ушли, Иваниха попросила меня:

— Ты не сказывай в городе, как мужики говорили. Губернатору не сказывай, пожалуйста...

Спать она легла на печи, а я — на полатях, в душном запахе сушеных трав.

Среди ночи меня разбудил визг ветра в трубе и тяжелый, булькающий шепот. Осторожно взглянув с полатей вниз, я увидел, что Иваниха, стоя на коленях, молится. Сверху она казалась бесформенной грудой чего-то серого, угловатого, похожего на камень. Ее необыкновенный, глухой голос странно булькал, казалось — это яростно кипит вода или полощут горло. Потом из этого кипения возникли странные сочетания слов.

— Ая-яй, Христос, ая-яй... Стыдно, Христос... Илья сердится, ты сердишься, Кереметь тоже. Ты — сильный, за тобой идет много людей. Тебе надо быть добрым. Кто будет добрый к людям, когда бог злой? А-я-яй, Христос! Ты слушай меня, слушай, я много знаю! Бабы твои мучаются, мужики мучаются, зачем? Э-эх...

Не крестясь, она размахивала руками, то простирая их к темным пятнам икон, то прижимая к бедрам, или била ладонями по грудям. И все шептала, глухо, но горячо упрекая, захлебываясь словами:

— Кереметь попы твои гонят, ох! Как можно? Кереметь — хуже тебя разве? Э-э, плохо, Христос! Бог бога гонит — чему учит людей? Ох, ты, Христос, нехороший бог, завистлив ты, злой, не человечий ты бог, нет! Трудно людям с тобой. Что делаешь? Иван — зачем помер молодой? Мишка, — одно дитя, такой светлый Мишка, — зачем? Корова Гусевых пала, ай-ай-яй! Не жалко тебе своих, а? Чужих ты уж не пожалеешь, нет! Ой, плохо. Кому служишь, Христос? Каким людям служишь, а? Вот я, баба, людям служу, твоим помогаю, и татарам, и чуваше — мне все равно, видишь? А ты — кому? Поп твой говорит: ты — для всех, а ты и своих не любишь, нет. Стыдно тебе, ох, не так надо. Я правду говорю: эй, стыдно тебе! Смотри на твои люди — хорошие люди, а как

живут? Э, — Христос! Ты знаешь: бог живет хорошо, когда слушает людей, люди — когда бога слушают. Ты слушай меня, а говорю не плохо, я правду говорю, ты понимай: богу надо знать правду лучше людей, а я, человек, старуха, знаю правду лучше тебя, прежде тебя знаю, э-эх, ты, Христос...

Так она укоряла Христа долго; очень жутко гудел ее глухой голос, кипящие слова, булькая в горле ее, звучали то жалобно, то горько и гневно.

Тонкими плетями хлестал дождь по соломе крыши, тонко и зло взвизгивал ветер, приглушая сердечную жалобу человека.

...На рассвете я уехал из деревни и увез в памяти моей одну из лучших бесед человека с богом, может быть, самую лучшую из всех, какие довелось слышать мне.

«Э, Христос...»

ВЕЛИКИЙ ПРОЛЕТАРСКИЙ ГУМАНИСТ

Алексею Максимовичу Горькому была присуща великая страсть борьбы за человека и человечность.

Непримиримость к тому, что уродует, принижает и угнетает людей, глубокая вера в величие человека труда и горячее стремление добиться его освобождения — все это у Горького воспитано суровой школой жизни, которую прошел великий пролетарский писатель.

Родился он в 1868 году в семье столяра М. С. Пешкова. С четырех лет, оставшись без отца, воспитывался у деда (по матери) В. В. Каширина, владельца небольшой красильной, который вынужден был в конце концов «пойти по миру», а десятилетнего внука отдать «в люди»

Взору молодого Горького постоянно открывались ужасные картины забитости людей, диких нравов и непомерной жестокости. Всюду одно и то же: и в доме богомольного самодура-деда, и «в людях», и в разных уголках необъятной Руси, исхоженной Горьким вдоль и поперек. Уже в детские годы будущий писатель стремился осмыслить окружающую действительность: он присматривался к людям, много читал, размышлял наедине с собой. Он хорошо знал простых людей и воочию убеждался в чудовищной социальной несправедливости, когда созидатель всех земных ценностей — человек труда остается униженным и обобранным материально и духовно.

«Переполненный впечатлениями бытия», как писал о себе Горький, он и пришел в литературу, чтобы низвергать все пошлое, низменное, грязное и утверждать чистое, красивое, великое...

Поиски путей борьбы с ненавистным собственническим миром подготовили Горького к восприятию революционной идеологии

марксизма. Он рано устанавливает связь с участниками первых марксистских кружков, сближается с лучшими представителями русской социал-демократии и решительно встает на сторону большевиков. На этой основе вырастает и его воинствующий атеизм, глубокое понимание социальной роли религии как опиума народа.

Суровую и беспощадную правду раскрывают страницы автобиографических повестей «Детство» и «В людях», принадлежащих к числу лучших произведений Горького. И в этой правде, которую, по его словам, «необходимо знать до корня, чтобы с корнем и выдрать ее из памяти, из души человека, изо всей нашей жизни», — бог, слепая вера в его всесильное могущество, занимавшая большое место в жизни тех людей, которые окружали Горького с детства. Они вовлекали и самого бога и множество его святых угодников «во все углы своей маленькой жизни», и от этого «нищая жизнь приобретала внешнюю значительность и важность, казалась ежечасным служением высшей силе».

В веренице человеческих типов, прошедших перед Горьким за его жизнь и принадлежавших к разным категориям людей, каждый представлял себе бога по-своему: одни — добрым и милосердным, другие — злым и жестоким. Каждый видел всемогущего таким, каким хотел его видеть, как это было ему нужно, как этого требовали «томительно бедная жизнь» и смутное стремление сделать ее «богатой, легкой, справедливой, красивой».

Еще в детстве, слушая бабушкины рассказы о боге, похожие на хорошую добрую поэтическую сказку, Алеша не раз задавался тревожным для него вопросом: почему же дедушка не видит этого доброго бога, а представляет его совсем иным: суровым и жестоким? Порою мальчику казалось, что дедушка выдумывает своего бога, чтобы внушить страх не к всевышнему, а к самому себе.

Однако злой и жестокий бог был предметом поклонения не только у деда Василия. Ему поклонялись и хозяева Алеши, у которых ему пришлось жить «в людях». Они так же, как и дед, требовали приступать к богу со страхом. А они-то уж «знали всех попов в городе, знали, когда и какое евангелие читают». «Сердитому богу деда» служили молебны в церкви священники. В церкви же можно было услышать «сердитые дедовы молитвы и плачевные псалмы». Все они были напечатаны в книгах...

Это был официальный, «книжный» бог. Поклонялись же ему люди, и дед в их числе, не потому, что таковыми они были от природы, от бога, а потому, что это соответствовало их образу

мыслей и чувств, которые весьма прозрачно выражены в словах Василия Каширина: «Мир человеку — темная ночь, каждый сам себе светить должен. Всем дано по десятку пальцев, а всякий хочет больше взять своими руками. Надо явить силу, а нет силы — хитрость; кто мал да слаб, тот — ни в рай, ни в ад! Живи будто со всеми, а помни, что — один; всякого слушай, никому не верь; на глаз поверишь, криво отмеришь». Психология хозяйчика-собственника вытесняла в людях все человеческое, порождала в них жестокость. А вера в призрачное существо, вселяющее страх, служила средством оправдания этой жестокости как чего-то исходящего от самого бога.

Ну а как же бабушкин бог, добрый и милосердный? Ведь она не верит в того выдуманного официального книжного бога. Внуку, в споре с ней ссылающемуся на «священные книги», она прямо заявляет: «— А ты брось-ка, забудь это, книжки все; врут они, книжки-то!» Наивно, может быть, но не без основания она уличает «священные книги» в противоречии: «Бог — был, а матери у него не было, эко! От кого ж он родился?» Ее вера во всемогущество и всеведение бога в удивительной простоте уживалась с какой-то житейской трезвостью в суждении о том, что «и сам-то господь не всегда в силе понять, где чья вина». Акулина Ивановна словно не замечала, что упреки богу, плохо заботящемуся о бедных, как-то не вяжутся с убежденностью в его всеблагости...

Бабушкин бог был столь же призрачен, как и дедушкин. Она была одержима верой в хорошую сказку собственного сочинения.

Все лучшее, чистое и светлое, что отличало бабушку от многих людей, склонявших голову перед суровым богом, исходило совсем не от ее особой веры. Просто ей были присущи человеколюбие, глубокая вера в человека и особая человечность, которые уже утратили дед и ему подобные. Религиозность же порождала у нее необыкновенную кротость и безропотную покорность, принижала и подавляла ее. Акулина Ивановна была одурманена религией. Не случайно она убеждала и себя и окружающих, будто в этом мире у господа все хорошо, хотя постоянно видела необычайно тяжелые условия жизни, дикость нравов и жестокость.

Всякая религия, всякая вера в бога, будь он добрым или злым, всегда и всюду ослепляет и порабощает человека — таков сам собой напрашивающийся вывод, который вытекает из жизненных зарисовок Горького.

Сила горьковских обличений — в жизненной правде, которая присуща любому его произведению. И дело не только в глубине и правдивости обобщения тех или иных событий, явлений и человеческих типов, но и в том, что за каждым из этих обобщений писателя почти всегда стоят люди, непосредственно им виденные, взятые из жизни и только оживающие под его пером. Это характерно и для автобиографических повестей, представляющих собой широкие полотна русского быта, и для такой литературной зарисовки, как «Знахарка».

Простая мордовская женщина — знахарка Иваниха, хотя и принадлежит к сильным человеческим типам, находится в плену суеверий. Однако это не мешает ей разобраться в том, что же представляет собой христианский бог. «Ох, ты, Христос, нехороший бог, завистлив ты, злой, не человеческий ты бог, нет! Трудно людям с тобой... Смотри на твои люди — хорошие люди, а как живут? Э, — Христос... Ты слушай меня, я говорю не плохо, я правду говорю, ты понимай: богу надо знать правду лучше людей, а я, человек, старуха, знаю правду лучше тебя, прежде тебя знаю, э-эх, ты, Христос...» Темная женщина, для которой вера в собственного бога Кереметя скрашивает тяжелую жизнь и вселяет надежду на что-то лучшее, обличает христианского бога за его жестокость, за его несправедливое отношение к людям.

Так порой случайно подслушанные рассуждения простых людей становятся у Горького острым оружием, направленным против сил, порабощающих человека. Герои его произведений, пришедшие на страницы книг из жизни, выносят приговор всему, что является частицей «свинцовых мерзостей» дореволюционной российской действительности: угнетению людей, произволу над ними, их темноте и невежеству, дурману религиозных суеверий, которые всячески поддерживали и насаждали эксплуататоры и их угодливые слуги в рясах.

Публикуемые в настоящем сборнике отрывки из произведений Горького не случайный эпизод в его творчестве, как не случайна вся борьба писателя против религиозной веры, уродующей человека. В пропаганде атеизма, в разоблачении религиозного самообмана Горький видел один из путей духовного освобождения угнетенных и обездоленных. Поэтому в большинстве крупных произведений писателя («Жизнь Клима Самгина», «Дело Артамоновых», «Фома Гордеев», «Мать», «Городок Окуров», «Жизнь Матвея Кожемякина» и т. п.), в пьесах («На дне», «Егор Булычев и другие»), в мно-

гочисленных рассказах, сказках, очерках от его пристального взгляда никогда не ускользает тлетворное влияние религиозного дурмана как силы, стоящей на пути общественного прогресса, оправдывающей и поддерживающей экономический и духовный гнет.

Горький умер в 1936 году. Великому пролетарскому гуманисту довелось жить в стране социализма, быть свидетелем действительного освобождения человека от пут экономического и духовного рабства. И незадолго до своей смерти он, открывая Первый съезд советских писателей, мог с великой радостью и гордостью говорить о том, что в Советской стране, где навсегда уничтожена эксплуатация людей, с исчезновением необходимости оправдывать власть человека над человеком «быстро и легко выходит из употребления бог». Великий писатель верил, что недалек тот день, когда религия навсегда исчезнет из жизни, когда люди, блуждающие во мраке суеверий, освободятся от этого тяжелого груза, оставленного нам в наследие прошлым.

Е. Лошкарев.

ПРИМЕЧАНИЯ

К стр. 1

«Два бога» — этой темой объединены отрывки из автобиографических повестей А. М Горького «Детство» («Молитвы») и «В людях» («Богородица», «На исповеди», «Человек, бог и люди», «Хранители веры»). В каждом из отрывков сделаны некоторые сокращения, что позволило объединить разрозненные картинки из жизни Алеши Пешкова в связный рассказ. Заголовки даны составителем.

К стр. 39

«Знахарка» — одна из зарисовок А. М. Горького, включенная им под этим названием в сборник «Заметки из дневника». Публикуется полностью.

СОДЕРЖАНИЕ

Редактор *А. Белов*
Художник *В. Оффман*
Художественный редактор *Г. Семиреченко*
Технический редактор *О. Семенова*

Сдано в набор 20 марта 1963 г. Подписано в печать 4 мая 1963 г. Формат 70×108¹/₃₂. Физ. печ. л. 2. Условн. печ. л. 2,74. Учетно-изд. л. 2,36. Тираж 175 тыс. экз. Заказ № 1480. Цена 6 коп.

Госполитиздат, Москва, А-47, Миусская пл., 7.

Издательство и комбинат печати «Радянська Україна», Киев, Анри Барбюса, 51/2.

6 коп.

· Госполитиздат ·
1963